Александр
Иличевский
Ослиная челюсть
Лауреат премии
«Русский Букер»
Финалист премии
«Большая книга»
A S T

Александр Викторович Иличевский

Ослиная челюсть

Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175560
Ослиная челюсть: АСТ, Астрель; Москва; 2008
ISBN 978-5-17-055300-6, 978-5-271-21694-4

Аннотация

Александр Иличевский – известный романист, лауреат премии «Русский Букер», как-то признался, что «привык план-черновик для прозы записывать в виде стиха». Перед нами книга, состоящая из рассказов, сильно напоминающих стихотворения в прозе. Или – наоборот – стихи, представляющие собой пунктир рассказа или романа. Во всяком случае, сюжеты, обозначенные в этих текстах, тянут на полноценные истории, в них, как пишет автор предисловия к книге В.Губайловский, «очень многое недоговорено, пропущено, но в эти щели хлещет действительность, как воды в трюм корабля».

Содержание

Случай Иличевского 4
На даче 6
Кража 7
Умерла 8
Отказ 9
Никогда 10
Чашка 11
Элегия случая 12
Мужество 13
Живой снег 14
Через Днестр 15
Шпион 17
Красивая 19
На крыше 20
Слепок 21
Посиделки 22
Смертельно больной корчит рожу 23
Танец 26
Окно I 27
Окно III 28
Окно IV 29
Окно V 30
Окно VII 31
Окно VIII 32
Окно IX 33
Окно XI 34
Потеря крови 35
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Александр Иличевский
Ослиная челюсть

Случай Иличевского

87 рассказов могут составить многотомное издание, а могут уместиться в одну нетолстую книжку. Но каким образом такой разброс сюжетов и наблюдений можно уложить в столь небольшой объем? Для такой плотной упаковки нужны серьезные идеи. Не бывает рассказа на абзац.

Мы открываем книгу. Это вроде бы проза, только что-то с этой прозой не так. И слова стоят криво-косо, и кончается она неожиданно быстро.

Тексты Иличевского часто представляют собой пунктир рассказа (или романа). Очень многое недоговорено, пропущено, но в эти щели хлещет действительность, как вода в трюмы обреченного корабля. Гибель неизбежна, но можно успеть почувствовать явление океана.

Кажется, Иличевский столько всего хочет сказать, что он бросает сюжет, не успев его расплавить до состояния прозы. Но это и не наброски. Это – *«броски сочинений»*. Что же получается в результате? Может быть, стихи?

Стихотворения в прозе – жанр, который до сих пор не реализовал свои возможности. Шарль Бодлер, Иван Тургенев, Артюр Рембо («Одно лето в аду»). Несмотря на эти имена (впечатляющие), жанр, кажется, так и не вышел из стадии эксперимента. Мы не можем отделить стихотворение в прозе от номинальной прозы. Но почему-то хочется. Вероятно, дело здесь не в формальных признаках стиха, а в заложенной в текстах интенции – направлении движения: от прозы – глубже, плотнее, еще плотнее, до предела – до того ощущения, которое Тынянов назвал единством и теснотой стихового ряда.

Откуда рождается это предчувствие стиха? Может быть, из того, что сюжетное движение оказывается первым членом метафоры, а вторым – голос автора – участника события. Он своим присутствием придает происходящему ту достоверность, которая достигается только в поэзии. И читатель – совпадая (совмещаясь) с автором, погружается внутрь повествования, и его подхватывает разворачивающийся сюжет. Как, например, в рассказе «Девятка», который начинается вопросом: «Тебе приходилось здороваться за руку с карманником? Будто держишь воду, то есть – „вынуть“ равняется „вытечь“ – бескостность». Когда не сказавший ни слова до самого конца рассказа вор вдруг очнулся и «украл» зрение женщины, читатель уже не может отделаться от этого ощущения «текучей бескостности», и чувствует страшное касание, чувствует слизистой оболочкой своих глаз.

У короткого, предельно сжатого текста есть очевидное преимущество: последнее слово может перевернуть (вывернуть, как карман) все содержимое, переменить его знак на обратный. То тексту идет обратный ток, и сюжет замыкается не последним словом, а первым.

Критики часто упрекали прозу Иличевского в перенасыщенности: хорошо прочитать один абзац, а потом наступает утомление и внимание рассеивается. В этой книге писатель предоставил возможность прочитать один абзац как законченный текст.

Меня всегда интересовало, как проза Иличевского связана с Пастернаком, и не с прозой, а со стихами. Мне всегда казалось, что некоторые (может быть, лучшие) страницы «Доктора Живаго» представляют собой стихотворения – стихотворения в прозе, – предел плотности здесь пройден.

Может быть, книга Иличевского «Ослиная челюсть» – и есть рождение (утверждение) жанра. Может быть, структурно четкая работа, которая в ней проведена, станет тем рубежом, за которым откроются осознанные и ясные перспективы стихотворений в прозе. Для того,

чтобы жанр утвердился, иногда достаточно одной настоящей удачи. Кажется, это именно тот случай.

Ослиная челюсть – самый негодный вид оружия, какой только можно придумать. Но библейский Самсон в битве с филистимлянами умело с ним обошелся. Поэзия – неудобный вид высказывания, но если сквозь (через) нее действует язык, если автор доверяется языковому диктату, результат может оказаться непредсказуемо сильным.

Центральный текст книги называется «Потеря крови». Как говорил Виктор Шкловский, в литературе одни сдают кровь и сперму, другие мочатся – приемка по весу. С тех пор как Шкловский сформулировал свою максиму, положение дел переменилось мало. Но кто-то еще теряет кровь.

Владимир Губайловский

На даче

Июль. Шереметьевская. Гамак. Небо, березы, их шепот.

Раз в четверть часа туши «боингов», «ИЛов», «ТУ» поднимаются в солнце, и дом дрожит.

Сойка в кормушке купается в крошках хлеба. Высохший вяз – театр ветвей.

На соседнем участке дети (важные разговоры) хоронят щенка – на индусский манер. Сложили хворост, и на эту подстилку положили друга.

Вонь застелила дыханье. Приступ рвоты выплескивает меня из гамака.

Самолеты летят отовсюду – входят в голову. Двадцать соток, поток забора – клетка моего безумия.

Как маленький, весь в слезах, весь в рвоте, кулаком уминая грязные щеки, я вижу мальчика с плюшевым щенком в руках, который только что с долгого поезда и сейчас стоит в очереди в баню: Треблинка.

Кража

Золотая фигура сидящего серафима, низко паря над землей, разрывает непроходимый колтун тропических зарослей. Почти весь появился. Следом слышно дополнительное движенье. Что это? Спутник? Ветер? Нет, носильщик серафима – вор. А за ним еще один… вор. И вот и третий показался их подельщик… А вон – четвертый тать – теперь вся шайка! – последний с треском, тяжело дыша, возник из цепких бредней, сплетенных туго, сбитых в космы, душных как головокруженье, – кустов олеандра, прошитых бечевками лиан и паутиной невидимой непроходимости.

Безумно жарко, влажно, страшно. Все задыхаются. Их лица обезображены гримасой, какую марафонец выдает на финише. Все четверо на грани издыханья. В затылки им сопит погоня, грозя вот-вот лоскутья скальпов срезать своими справедливыми зубами.

– Оле́ – ара́ га – а́хва – а́хва – речи́хва – а́ка – а́ка – ту́!

Священную статую Шивы сегодня на рассвете они выкрали из храма. Служка их заметил и поднял бучу. Вот уже часа четыре, как несут ее сквозь джунгли. Погоня не остынет никогда, месть настигнет каждого в цепи перерождений. Нужно все-таки им передохнуть. Тяжеленного идола ставят на землю. В кружок садятся подле, так что предмет покражи входит, как звено поруки, в их сосредоточенное сидение. Предельно отрешенный чистый взгляд. Молчат, сложив ладони в трепетной молитве, чтоб силы им прибавились, чтоб дальше они могли нести сквозь чащу вот эти двести фунтов золота. Откуда ж взяться силам? Вдруг происходит. Один из них внезапно застывает, спокойствие облагораживает его лицо, но прежде, чем окаменеть совсем, у него вырастают четыре руки и плоть его промерзает золотом. И в то же время оживает Шива и превращается, как будто перелив тому свою божественную неподвижность, в человека…

Теперь прибавилось им сил довольно, и этого должно хватить до нового привала.

Умерла

В результате она скоропостижно приближается. Растительные сети мокрых, пахнущих не то тиной желанья, не то шанелью, душные дебри тропического сна, безвыходного настолько, что вернуться в него – значит проснуться… А между тем, канув всеми пятью, сейчас тонкой серебряной струйкой в глине потемок – ясным и новым – проворно, и к поцелуя устью уверенно расширяясь, происходит происходящее – я, некий звук, исподволь и незаметно, внятным побочным продуктом, – эхом бьющегося прикосновенья под кожей, выемкой ласки.

Отказ

Я думаю, едва ли вещь может быть вне своего места. Я говорю это вполне серьезно, помимо лирики то есть. Вот, например, я сегодня взобрался на гору Сокол (Новый Свет, крымское побережье), и там, на вершине, я подумал: что такое гора вне воздуха, моря, зренья? В лучшем случае глыба, препятствие в несчастливых потемках слепого пешехода. В худшем – громада пустоты, вывернутой наизнанку.

Внизу – свет, ломясь лавиной с зенита, выглаживал штилевую поверхность моря, два или три паруса белели в бухте, которая отсюда казалась подковой – той самой, что и есть залог счастья этого края. Зной обволакивал скалы, сосны, взгляд на них не мог быть слишком долгим, рискуя сам превратиться в марево, истаять. Тропа, ведущая долго по Чертову ущелью, оборвалась отвесным колодцем, проторенным потоком в гладком, ажурном камне, до головокружения отвесным.

Я заглянул и отпрянул: в меня всматривалось мое паденье. И я не выдержал пристального взгляда.

Я действительно думаю, что вещь не может происходить вне своего владельца. Поэтому, отпрянув, обрек себя на небытие. В нем мне довольно уютно: потягиваю мускат в кофейне на набережной, Млечный путь виден ясно, шелестящая близость моря. Но все же это небытие, хотите верьте, хотите нет – не-бы-ти-е.

Никогда

Два галчонка на взлете с ограды в осень запускают по перышку: цифрой восемь облетают перья в чертополох, в крапиву, – обновляя дату, украшая – хоть так – могилу.

Двое пьяниц, присев у ограды с пивом, мастерят себе «ерш»: цедят кропотливо, из-за пазухи вынув пол-литра, струйку – словно дар, что у сердца храним, – по бульку.

Если что-то и держит тело в пустоте, где от сна все бело, – это мысленный кол осиновый, вбитый там, где любил так сильно, и более ничего: ни земля, ни место.

Десять лет назад умерла невеста одного: вот, пришел и сейчас помянет.

Скоро выпадет снег, а когда – не знает.

Чашка

Наступила медленная ночь. Я сижу в кухне, курю, рассеянно глядя перед собою. Маленькие черные человечки в синем фаянсе под лампой стоящей чашки упрямо карабкаются на сетчатку, легонько топочут по ней, бегут куда-то дальше и там, в глубине, по одному пропадают. Исчез последний, и вдруг – спустя – я постепенно начинаю слышать их терпеливую засаду.

Теперь поверхность чашки пуста, за исключением блика и кофейного потека, где краешек касался губ. Я слышу, что там, в глубине не-зренья, медленно живут эти человечки, затаившись в покое, занявшись делом. И я представляю в одном из них себя самого, и в их общине мне спокойно и влажно, и тепло.

Я решаю больше не возвращаться.

Элегия случая

Все, что я знаю о мире, его не стоит.

Все, что солнце узнало во мне, не стало морем.

Случай думает во мне – вместо меня – об этом, покуда я сижу на скамье на бульваре в лете, и липы, смыкаясь вверху в водоворот кружевом крон, кружевом света, зренья, – сплошной чередой изумруда вращают ось пыльного солнца в конце аллеи.

Движенья прохожих прозрачны: праздность, великая праздность лета царит в округе; пух тополиный, как газ – легкости, неги, смеха, замедляя течение прогулок, взглядов – и даже света, – плавает в тишине тишиной, дыханьем ангельского крыла, его пухом, пером, пареньем.

И где-то на самом краю наития, на невысокой горе (которой, однако, очи наяву не воздеть) царь Давид все пляшет и пляшет, в бубен бьет, веселясь, и плачет и снова пляшет.

«То, что еще невозможно, уже не будет», – продолжает Случай, и я ему смирно внемлю: голос его настойчив и тих, и – как двойник – смертелен.

Мера моя протянута пониманием – от виска до виска, как кукана выстрел сквозь жабры, натянута струной, на которой играет Случай. Щипок за щипком, жесты его – как круговерть немого; он подбирает – мой отзыв, свой пароль, и путает то и это. Мысль моя – моя кровь – замирает, как в детстве море замирало по счету три, и ждет – что будет дальше?

Вдруг тяга меры моей рушится вслед за мною – в небо не-зрения, просторное, как окно.

То, что я вижу сперва, похоже на целый остров слепоты: бесполые лица, бабочки-двери, залы с разверзнутым полом, и сразу – как платформы обрыв: воздух, поля, вороной, ночное; звезд не счесть, как мой ужас, как числа; и ползет вверху, толкаясь с жуками, спутник.

Тридевять ночи. Кузнечик «ни-где» бормочет.

Чем возносится призрак в воздух июля? – Дрожью, трепетом лепестьы, аплодисментом эльфа; шепотом вероятий, страстью ожить, вернуться.

Что по себе оставляет призрак? По крайней мере, воздух, его прозрачность, влекущую перспективу бульвара; прохожих, влекомых ею; сгустки того, что уже никогда, никогда… и память, настырную, как собака, которая, словно кость, нашла себе нового домочадца.

О, разведи рукава! разведи перед ней пустые, как моря на Луне, теченья рук – невидимка, отродье незримых – призрак. Покажи, с чем пришел: вот с тем же уходишь, на-кась!

И еще оставляет призрак сонмы немыслимых «хочешь»:

– Хочешь… сдерну смычком полета с проводов трамвайных небо?

– Хочешь – стану тобою?

– Хочешь – февраль разорву в апрельские клочья?

– Мною вместе мы станем – хочешь?

Что по себе оставляет Случай? Место? Время? Вряд ли место – скорей, не-место, но – то, что куда дремучей, чем самые белые пятна.

«То, что еще невозможно, уже не будет», – вновь затевает из бездны Случай, и я ему тихо внемлю: голос его безмолвен, как лавина горы на старте. Чтобы спастись, я вновь обращаюсь в воздух.

Прохожие, пух, Москва входят в меня, как солнце входит в стекло, – и во рту оживают взрывом.

Мужество

Гигантские шершни кормят аминокислотным белковым коктейлем личинок. Ферменты растворяют в их челюстях отгрызенную голову богомола или пчелу.

Этот коктейль доктор Ухамаро добыл в лаборатории и опробовал на мышах. Мыши стали тонуть в тазу вдвое дольше тех, которых Ухамаро не поил так, как шершни поят личинок.

Олимпийская чемпионка по плаванию Тацуко Хорикаву перед триумфом пила коктейль шершней.

Что делать.

Бездомная японка год жила не замеченной в чулане Хироки Итакура (58 лет, потолок полметра).

Итакура жил один и комнатой, где находился чулан, никогда не пользовался.

Женщина спала на матрасе, принимала душ. Итакура полиции описал ее опрятной и чистой.

В течение года он жил с невидимкой. Что, если б он не заметил однажды исчезновенье продуктов?

Стоит ли знать, что доктор Ухамаро был искусан до смерти, когда разбил колбу с ульем.

Живой снег

Зима. Размером с сознанье. Чашка кофе, лимон, белоснежная скатерть. Застывший профиль. Подвешенная беседа. Если встать, отодвинуть штору, распахнуть окно, то полчище духов метели ворвется, расплескав существованья вокруг, по щекам, – исколов, истает. Призраки, они исчезают в тепле моего лица… Я возвращаюсь, допиваю кофе. В комнате еще пахнет свежестью морозного воздуха – их присутствие тает. Сигарета дымится. Желтеет лимон. Профиль оборачивается к вам, чтобы всмотреться. Слезы мешаются с каплями тающего снега.

Через Днестр

[*Илине Григорьевой*]

«…И за околицей исчез вдруг табор. До срока наступил сентябрь, и сумерки затушевались гуще, и грифель веток истончал, и как надлом – так слышно „кар-р“… Но, может, слом трещит, а крик – беззвучен? Сад отодвинулся за яр, и чаще ночь молчит тягуче в сознании прохладном. Лес вверху стал кружевом небес, доверенным их наготы. Внизу кусты, разорены, содержат точное познанье того, как почки пустоты способны пышно расцвести…»

Вот образец светописанья, что ты просил. Такая скука. Но я предупреждал заранее, что плюсы здесь давно в изгнании. Могу добавить, что «…порука дождей, наверно, минет нас; что сразу снег пойдет – сужу по муравьям: они легко укрылись; что теперь в одно и то же место солнце-глаз – и ночь, и день в одну межу – между бессонницей и зреньем лениво смаргивает, как слезу смолы – земное притяженье». Что вдруг менты волну гнать стали, что, мол, цыгане «ни при чем» в пейзаже здешнем босиком… Те спорили внахлест: кнутами минут пятнадцать всласть махали – и в результате семь кокард, домкрат, канистру, два «макара», запаску с газика – все даром с ментовской бучи подмели. А ночью слили из поселка. И – плюс – с собою увели Игнатьича «Урал» и телку мою (вот черти!) прихватили. То есть украли в ебеня – читай, что насовсем забрали. Вот и все потери.

Терем мой в щелях шерсткой мха забит, так что, надеюсь, доживу, а если – нет, то – проживу (читай: «всю зиму» – «до весны»), и мы, конечно, свидимся. Пиши. Про – обо всем. Что берег, как он – сильно ли подмыт? Ты мне писал, он может обвалиться, и ласточкины гнезда вместе с ним… А что до моего – осока пожухла вся, вода заметно спала и несет, лениво подгоняя из старого дивана клочья ваты… Взглянув повыше, я поправляюсь – облака.

Ты это, верно, сам заметил. Что ж, я прощаюсь – поздно, а я все болтаю… Ну, пока.

– Берег?.. Да, все же был обвал… Как будто ничего и не было – все гладко. И даже глины глыбы в полдня течением слизало… Конечно, гадко, возвратившись, найти свой дом разбитым вдрызг. Со мной однажды приключилось… примерно это… Вот ведь черт, и до сих пор… как вспомню – спазма… Зашел по случаю в ту коммуналку, где комнату одну когда-то я приспособил к помещению себя. Дурное было время, и мне нужно было деться… Так надоевшую уже и воздуху пластинку стараются засунуть в дальний кут, чтоб только бы не выбросить – все ж жалко. Нет, я не вернулся, всего зашел. Когда – вход часто доступен был от бедности жильцов, и было тихо – я по коридору проходил, то вдруг увидел, что нет двери у комнаты моей и в ней глухая пустота.

И взгляд никак не мог сперва в нее проникнуть…

Повыбитый косяк, и петли как будто сорваны. Внутри: квадрат окна, пролитый на пол… Ни пылинки. Мне стало холодно, и рвота к глотке едко подкатила. Я как-то выбрался оттуда.

И дело в общем-то не в том, что я там жил, и что-то там случалось со мной… нет-нет – все позабылось… Да и зайти решил я только, чтобы вернуть от комнаты той ключ запасный. Наткнулся на него, перебирая хлам, в ящиках стола осевший… Я долго помнил и не мог произнести. А этот вот обвал…

Мне кажется… уверен, что тогда мне довелось увидеть ливер того, что в обиходе жизнью пытаются назвать и называют… А рвота, беготня… конечно же, смешно: такая вот субтильность стойких. Но ведь бывает же, когда в кино настолько гадкие творятся вещи, что люди вместо «нет» и междометий вдруг начинают выделять истошный смех до слез и визга…

За ласточек спокоен я, они – не люди, размытый берег им не страшен: они проклюнут новые ходы.

P.S. Купил бинокль и теперь могу твой «терем» разглядеть: подвесь к карнизу тряпку, как письмо получишь, чтоб я узнал – дошло.

Шпион

Ночной вокзал. Бессонницы песок из ламповых часов в зрачок натертый потоком воздуха, наискосок входящим в темень мозжечка – на версты. Глаз опухает – как осы сосок, спикировавшей сквозь свой желтый обруч, – и вертится, краснея, на восток. Мент на себя похож. И глаз – на глобус.

Я прибыл в Ялту поверху, как гусь, подстреленный из собственного зоба, пальнувшего картечью вопля – «Русь! тебя люблю, но проклинаю снова».

И вот в Крыму… Вокзал, где я боюсь, что мент меня, бессонного, отметит, и створки – хлоп. Мой слепенький моллюск пищит в песке, которым время светит.

Сержант, таки приметив, под уздцы меня, шпиона зыбкой атмосферы, ведет к своим. Инструкций изразцы по отделенья стенкам: ксивы веры. Менты в Крыму, конечно, молодцы. Но мне совсем не по сердцу их меры – я жду связного: шифра образцы он передаст… Моллюск дрожит, как нервы.

Империя протухла, словно кит, спятивший от писка навигаций, – что посуху не смог. И вот смердит: молекулы, как пули, распадаться спешат замедленно, – и в воздух вдох забит как в дифтерию – выдох ингаляций. Китовый ус под кадыком завит, пульсируя на пробу. Разлагаться кит медлит глянцевитым жиром сна, где в топком свете букс идет на месте, где ворванью зернистой сапога – в гангрене по колено – спит наместник. Где сну наместник снится нагишом, как он идет по полю на гора – стрелять стрижей, махая палашом, а в поле все снега, метель, зима…

Маячит вдруг у выхода связной. Сержант никак не кончит протокола. Ну что же ты, связной, такой дурной, грозишь всей операции проколом! Сержант связного манит: – Подойди. Ты знаешь (тычет в морду) вот такого? – Ни в коем случае. Могу идти? – Сержант горнистом хлещет кока-колу и, в Гоби сушняка залив ведро, гремит ключами, клетку отпирая. А я, мента махнув через бедро, жму площадью вокзальной, догоняя связного, от которого ядро Мюнхгаузена вряд ли бы ушло…

Мелькает город – улички, бистро на набережной… Море как стекло.

И по дорожке солнечной восхода мы к Турции стремим свой беглый кроль. Взвывает катер перехвата, хода нам не давая даже под пароль. Из вод наместник сонный вдруг выходит, с скуластой рожей пахана Востока, кривым лучом по штилю колобродит. И две башки – бултых – с винта потока.

В Томилино, на даче, где сирень махровая вскипает над забором и яблони, как облак, светоносны, где карамельные несносны осы, где улички пылят под детским ором, скрывается разведчик – третий день: теплынь, гамак, томление и лень.

Он ждет связного. «Густав» странно медлит… И хорошо, что медлит. Для него быть одному – привычка и отрада. Как хорошо быть одному! Не надо ни слушать, ни ответствовать, чего он тут такое нашпионил… Если б! Шпионить нечего здесь бо…

Разведчик размещается ко сну. Он тушит лампу, разворачивает плед. Звезда глядит в окошко сквозь листву. Разведчик вспоминает о связном, о том, что бедолаги нет и нет. Звезда глядит в окошко на звезду: разведчика захлестывает сон.

И сну разведчик снится голышом, как он идет по Моховой к Кремлю, – вокруг телеги, лошади; биплан завис над Спасской, видя этот срам. Разведчик мерзнет. Дела нет сержанту, – он смотрит в небо:

– Мало ли что сон объявит правдой, даже нагишом!

Разведчик хочет сдаться, он идет к посту у Боровицких. Он кричит:

– Возьмите, гады, вот я!

Но висит, не шелохнется в небе самолет. И сержант все так же – в небо, и молчит: «Подумаешь, какой-то идиот… А что – разведчик, это подождет».

Проходит лето. Ночи, сны – густеют и застят небо: солнце стало жиже, и облака, как тучи, стали ниже, – их ветер гонит, гонит под откос сквозь шорох стекловоздуха стрекоз. Гамак провис и прохудился небом: воздушных рыб не держит больше невод.

Разведчик синегубый, жив едва, под пледом просыпается. Звезда, сместившись, скрылась под листвой. И все еще отсутствует связной. Разведчик согревается луной и по нужде спускается с крыльца. Кругом Вселенная так хорошо видна…

Полынь белеет солью на меже. В заглохший сад впускает скрытно осень луну. И путает ее в ветвях. Лучи светила бьются в мокрый прах и каплями спадают в сливы корень, за воротник, когда – еще во сне – луну спасаешь, выйдя по нужде…

Нужда скромна, и вскоре, закурив, считаешь звезды. Россыпь их похожа на некое большое многоточье, стоящее в конце у жизни, точно жизнь вечная. Та, к сожаленью, тоже кончается, когда звучит обрыв от выстрела в сирени… Свет – нарыв.

Красивая

Если бы я мог хоть на слово предугадать, где окажусь, то я бы прихватил с собой оружие. Или, по крайней мере, позаботился о своем погребении. Или хотя бы взял себя в руки, чтобы не делать выводов из положенья, в котором я сейчас размещаюсь: Баку, узкая улочка Крепости, шквал толпы, взбешенной тем, что она – толпа и потому должна быть зверской. (Как заметил Поркья, сто человек вместе – одна сотая человека.) В общем, так себе положеньице, если учесть к тому же жару, тысячу восемьсот двадцать третий год, раннее-раннее утро и то, что я только что очнулся от себя, лежа на пороге караван-сарая, в пыли и в шкуре хозяйского пса, в ожидании завтрака в виде остатков вчерашнего ха́ша, еще надеясь на событие…

Толпа, оставив меня целым, схлынула вслед за собственным гулом. Спустя – дверь осторожно, по сантиметру приоткрылась – я успел отпрянуть, пытаясь всмотреться. Паранджа. Пустые руки. Ноль вниманья. Завернув краешек ткани, приоткрыла лицо. Посмотрела в конец пустой улицы. Задержалась взглядом. Я уселся смирно в сторонке. О, как она красива! Посмотрела в небо. И я посмотрел, жмурясь. Столб нисходящего зноя в разреженном голубом. Который, слепя, из белого льется в черный. В тело сна, наполняя его забвеньем.

На крыше

Я обожаю небоскребы, точнее – верхний их этаж, где потолок как будто череп или как будто свод неба, а ты живешь там по касанью, скользя по влажному «че-че», как мысль о воздухе вовне. Оттуда проще недоносков, снующих в воздухе, предвидеть, и там, на крыше, всюду плоско и пусто, так что ненавидеть соседей сверху нет причины; там можно навзничь загорать в чем мать тебя явила свету, вбирая порами голубизну и ею как бы растворяясь, – прозрачным шаром уплывая в затылочную область, где пятном слепым гвоздится солнце…

Однажды я заснул на крыше. Проснулся только в сумерках. Пробудило меня хлопанье крыльев: большие птицы, с головами дремучих ангелов-уродов, слетелись с небес – иль откуда? – и грязно-белыми крылами месили воздух напоследок.

Я ими был замечен. Страшно мне не было. Скорее, любопытно. К тому же все это спросонок мне виделось. Их было трое. Одна уселась на антенне, как на насесте, озираясь на город, где-то в глубине мерцавший, плавно остывая от жаркого движенья дня. Внимание других сошлось на мне, и вдруг одна вразвалку тронулась – вглядеться. Пахнуло падалью, я обмер…

Ну, наконец-то отстранилась. Но оказалось – только чтоб взглянуть на остальных и молвить взглядом…

И вот одна из, жутко взвизгнув, дала начало их круженью. Антенна гулко покачнулась, и зрение взорвалось, стало меркнуть… Вдруг что-то в пах вцепилось мне, дыханье заслонило и остатки света – ударами крыла и болью, мертво когтистой лапой сжав в горсти, подняло в сумерки густые, подбитые пером заката.

Что было дальше? Я проснулся, болидом воздух пробивая, теряя темную прозрачность, перенимая форму у паденья.

Слепок

Тихокрылый ужас влет по раме как забьет и разобьет потоком душных сумерек густейших, снами, что приснились. И не вспомнить толком.

Себя нащупать отпечатком смертной маски в негативе гипса – то же, что наколку на сетчатку наносить, вытравливая лица тех, кого любил, но больше нету, – шрифтом Брайля слепоту убавить в сторону немыслимого света из окна, в котором бьется память.

Посиделки

Едва ли я припомню, как она на самом деле выглядела. То, что я помню, в поле зрения пятна слепого встык находится сверхточно… Ни локона не вытянуть на свет, ни черточки – для грифеля работы: запечатлеть источник моих бед, равно как и предмет моей охоты…

Вздохнув, он наливает по второй. И взгляд мой водворяется на лампу, в чьем ореоле бьется головой жучок о свет, как пустота о дамбу.

Когда-то быв им встречена в кафе и на ночь заглянув по недосмотру – исчезла; с тех пор своей «вдове» предельную он посвящает ноту.

Жучок. Веранда. Лампа. Ореол таинственного центра. Май. Окошко, распахнутое в сад. В нем Орион мигает так, как если б понарошку.

Ночь пятится за полночь. Я встаю.

Сосед по даче движется за мною через кусты сирени на звезду, едва в ней помещаясь головою.

Смертельно больной корчит рожу

Перово возникло в конце декабря. Бульвары, скверы были уже доступны карандашу и легки бумаге. Завязь снега шелушилась со свода Москвы. И кроме осыпи этой известки света (на деле – мела при написании на небе, на скрипучей морозом классной доске обстоятельств действия света в пространстве: во сне сорокаваттного зимнего солнца; маляр обетованных пустот выпускает сумерки – свой парашют) свобода не прибрала к рукам ничего.

И даже перья дыхания. Болты стужи, запрещающей горлу звуки – вдохнешь воспаление, – с каждым шагом скрипят, затягиваясь туже. Становится у́же выбор места для продвижения: «лево» просится вправо, «прямо» пятится вспять, чтоб быть ближе к теплу вестибюля, не вспомнить – «Таганки» или же «Площади Ногина». Простуда пасынка калифорнийской теплыни сильным жаром – легким вальсом горячки, озноба – по кубу зала, где событья кружимы тактами их обстоятельств, – проводит, не уточняя. Сутулый, будто против ветра, человек переходил у моста близ станции «Электрозаводская» Яузу, путаясь в демисезонном пальто, заправляя цветное кашне, и это выдавало его как сторонний – невнятный и неудобный здешней зиме – предмет возвращенья. Переход затянулся. Его цель: добраться до тех ступенек – балансируя и скользя. Лед – до дна: так повторяется река. И он, поскользнувшись, но удержав себя, говорит:

– Так я и думал: зима!

Вдруг стало понятно, почему он выбрал именно этот маршрут: Коломна, Фруктовая, Луховицы и – таинственное Перово. Он интуитивно скользил по бороздкам впечатлений: шрифт Брайля, как рельеф ландшафта, слепая память…

В восьмом классе, по результатам сданных весной норм ГТО, тренер лыжной секции его приглашает провести июль на Фруктовой: спортивный лагерь, голубой шифер доминошных ветхих домиков, полоумный подъем в семь пятнадцать, разминка. Пересеченные пятнадцать километров вдоль берега Оки, забирая все выше по волнам заливных лугов, – затяжной распашной ландшафт, пари – не хочу, – наискосок к устью Осетра, слалом между вешек коровьих лепешек, кустов, проваливаясь в кротовые норы, и дальше – шатаясь: не выспавшись от посещенья «девичьей», а теперь соревнуясь также и с ними, с ночными целовальницами, по распростертой ладони луга. Завтрак: слипшийся рис, чай с добавленной содой, чтоб черней. После завтрака проклятые замеры Палыча: стометровка, четыреста, «рухни» и отжимания. «Рухни» – это прыжок в длину в максимально достижимое здоровьем число приемов – в среднем, семь, – а Линецкий Саша иногда прыгал девять! После замеров вы без сил лежите в траве, колени минут пять не держат от напряженья. Кто не вписался по нормам – тот Палычем проклят до завтра. Отдых часа полтора – и живот тянет к столовой. Обед: возлюбленный минтай и щи с говядиной, которую никто не видел, но допускающие добавку. Развлечение после тихого часа: поход в Михалево с разведкой заброшенной церкви, пробравшись от речки настоящим подземным ходом с комиксами вечных мук; винтовая чугунная лестница вела в бельэтаж, на полуобрушенные хора, и там те же сцены Суда.

Однажды заключил пари, что ночью проведешь Тату, Ирку, Серегу – на ловлю привидений…

На Фруктовой он поселился в санатории «Южный». Четыре сообщающихся галереей корпуса бывшей лечебницы для смертельно больных. До сих пор витал запах медикаментов, не вытесненный косметическим ремонтом.

На сугробах он помнил клумбы, с горкой полные золотых шаров, ноготков, настурций, вокруг белое тусклое пламя бузины… Аккуратный парк, центр его обозначал неболь-

шой везувий в виде холма, у которого кратер – высохший прудик; вдоль берега – купы боярышника, всплески верб; щербатые скамейки, медленная мозаика теней от листвы; ветерок, походка призраков светотени.

В то лето ближе к вечеру они часто сбегали без спросу в «дом отдыха» (так местные прозвали хоспис). В парке они собирали желуди, играли в прятки или гуськом распутывали дорожки: пытались с наименьшим числом самопересечений провести замкнутую линию прогулки и при том обойти непременно все уголки парка; затем на миллиметровке составляли карту местности: таково было задание секции «охоты на лис».

Лужицы солнечных пятен, шелест роскошных крон… Однажды их внимание привлекли окна «красного уголка». Они прилипли к ним, как листья, обнаружив внутри кино.

– Вот это открытие! Там показывали: «Кусок хлеба», «Короля джунглей», «Неуловимых мстителей», «Пиратов XX века», «Синдбада», «В джазе только девушки» – это то, что он помнит… Пленки были в прожогах, они перепали или были списаны из кинотеатров областных городов, отсюда мешанина повествовательных линий, произвол «монтажа», отсюда паузы в сеансе, заливаемые свистом и воплями с подоконников и деревьев.

В то время как публика в зале была неизменно спокойна, независимо от происшествий на холщовом зерцале экрана – неважно, будь то триумфальный побег слона из неволи или куплет Радж Капура. Больных, казалось, и не было перед экраном; после сеанса никаких эмоций, никаких обсуждений, мы видели только их отдельные спины, выстроенные в очередь на выход. Ножки стульев оглушительно крякали, шаркали по плитке, когда их задевали семенящие ноги, близилось время ужина…

Но однажды после сеанса остался в зале человек. Он или заснул от скуки, или задумался. Человек этот медленно обернулся к окну и увидел на ветке мальчишку. Лицо больного было таким страшным, такая тоска была на нем, что мальчик, который никогда в своей жизни еще не видел гримасы горя, – чтобы как-то осмеять свой испуг, чтобы защититься, – скорчил больному рожу.

Брови больного поползли вверх. И тогда он скорчил рожу в ответ.

Так вот был у меня в этом парке один знакомый – отъявленнейший из пациентов. И не знакомый даже, но как бы примета, тогда мной уловленная среди обитателей лета. Последний раз я с ним встретился в парке у стенда, где желтели листы «Известий». Сонный взгляд, отраженный передовицею… И отчего-то казалось, что он слеп. Слепота его словно проливалась вовне. И я почувствовал это, поравнявшись с ним, вдруг озябнув.

Лет пятидесяти, полуседая шевелюра, сутулость под пиджаком, руки сцеплены на пояснице, переносье отсутствует, как у боксера; мятые панталоны полосатого больничного образца, эксцентричность внешнего вида, и какое-то жуткое свойство вот так стоять перед стендом с газетой, ничего не видя.

Я вернулся спросить время: ноль внимания, будто не слышал. И я не стал повторять вопроса, я тоже замер. И спустя мгновение уже не мог пошевелиться. Вокруг него образовалась гипнотическая воронка, сейчас понимаю – всего лишь тоски, но тогда, я уверен, мне почудилось отрицание пространства моей счастливой жизни… Да, именно так зарождается в облаке лучших чувств страх – под рассеянным плоскостью смерти взглядом.

Я не знаю, прошло ли время тогда, но помню, я присел на щебень, охватил колени руками, уставился в небесную колею аллеи…

Он казался абсолютно недвижим: мощные плечи, двойной затылок, выдающийся подбородок. И этот сочащийся гибелью взгляд. Вдруг – о, ужас! – я услышал не стон – мычанье. Он повел плечами и стал постепенно все шире раскачиваться, подвывая, взад и вперед, и уже почти касался лбом газетного стенда… И здесь меня прошило страхом: он раскачи-

вался, как цадик, и выл не зверем, мне показалось даже, что он приплясывал – пошаркивая шлепанцами на дорожке…

Я понял, что нужно исчезнуть, стал неловко ползти – не встать: страх и гравий сыпучие – я вязну, у меня похищают дыханье, все как в самом жестоком кошмаре…

И тут вместо того, чтоб фанеру (самый естественный выход из этой репризы) пробить лбом, он отрывается всем своим мощным телом и, как заправский хавбек, с разворота вбивает мне пендаль под зад.

Я лечу из вратарской в аут – под куст сирени.

Танец

И еще. Мне действительно кажется, что люди, после скончания времен представ пред Господом, слов произносить не будут.

Но они и не будут немы, повествуя о себе, о мире или же – ничего не говоря. Это будет некий теловещательный балет, в котором душа и тело едины в своих движениях. Телом будет владеть закон жеста, по которому чувство и мысль неразличимы. Молчание тоже можно будет выразить движением, – мотыльки, например, вполне красноречивы в своем танце.

Действительно, жест – поступок тела. И в то же время зрение – это совершение светового осязания: ведь чтобы увидеть невидимое, нужно излучать, нащупывая лучом таинственный контур, в который вписывается жест, череда жестов, танец, порхающий между смыслов.

Сейчас немой мотылек стежками под кварцевой жаркой лампой, которую я использую также и для обогрева веранды, выписывает письмена, пеленая (см. алфавит на крылышках) облако смысловой пыльцы, принесенной из цветочного воображенья.

Возможно, это самое – до тоски – счастливое повествованье, которое когда-либо мне было известно. Какая яркая точка станет в его конце!

Окно I

[*И.Г.*]

Я скажу то, что вижу (это и будет мрак). Но сначала о свете, которым зрю.

Это – закат, и он пятится словно рак, полыхая клешнями, в ночи нору. Вся округа – поле. На нем – неизвестный злак. Колосок во рту будто обойма слов. Вижу лес на краю – в нем засел вурдалак; что ли, в гости сходить, – но не ждет послов. Тело под небом на стреме стоит стоймя, ночь льнет холодной щекою к его лицу, растекаясь по полю, как чья душа, лунным светом, чтоб видима знать кому.

Тишина. Все вокруг остальное спит. И себя умыкая за взглядом в тьму, не пойму, что там светит и вдруг слепит, рушась в облаке звезд сквозь одну слезу.

Окно III

Сорок три кубометра зеркала, снов, движений, тиканья часов, зуммера в снятой трубке, голоса, на который пес до сих пор бежит, стоит его лишь вспомнить; дебрей обоев, трещин, слагаемых в письмена, – на потолке, фаянсе; складок белья, посуды, ласки, разлук, объятий, возгласов, жестов, слов – место имевших тщетно, так как пустому месту без святости не дано…

Чудесная эта шкатулка размером теперь с орех: его я держу в ладони, его мне не раскусить. Так выросший Гулливер зорко следит за орлицей, несущей над морем домик, где он все еще лилипут.

И телу неловко видеть себя в умаленной форме.

Окно IV

К окну нагибается вечер и смотрит, кто там и что. Ничего не видать – значит, пора кончать все дела на свету и, усевшись на стул, смотреть в сторону слепоты, туда, где плывет луна.

Человек, сидя на стуле, смотрит в окно на небо. Он подносит к губам скатанный хлебный шарик – и застывает. Его кто-то видит. Точнее – пока что чует, подслеповато вращая лунной орбиты резкость.

Звезда перестает моргать.

Вдруг из раскрытых губ вкусный, как тайна, мякиш затвердевает в ледышку, а человек – в стекло. Облик его являет лакомый блеск живца. Следует всплеск и вспышка. Звезда, прижигая зренье, бьется в зрачок и выходит наружу словом.

Мышь пробегает следом. Мякиш тащит за печь.

Окно V

Человек выпадает в окно и, падая, видит сон. Одиннадцатый этаж: тридцать свободных метров, три тысячи сантиметров падения, жизни, счастья. Ему снится день, который снится окну сейчас.

Начало апреля. Талый воздух, огромный воздух. Муха, очнувшись, бредит спросонок и бьет стекло.

Сосед, открывая пиво, садится на подоконник:

– Теплынь, – говорит с блаженством. – Ну вот, наконец весна.

Город, внимая солнцу, становится легче вдвое. Дворник ведет раскопки, сгребая золы сугроб. Трамвай забегает в лето, ломясь на зеленый облак.

Тридцать свободных метров, искрящийся столб паденья, паденья и взлета, медлит, горя, набирая ток.

В руке зажимая эхо прикосновенья к телу, к предмету его полета, он бьется в осколок неба.

Солнце взрывает вену. В ладони лежит перо.

Окно VII

Ночью мне снился день. Цветущая мокрая ветка пересекала его посередине. Вечер и утро ею различались, как тень от света.

Листья купались в волнистом токе тепла и прохлады. Птица сидела на ветке, чистила перья, немного пела. Капля, вобравшая зренье, упала на веко мне.

Солнечный, летний день. За окном ни души, ни звука. Воздух июля держит меня на своем теченье.

Подо мной переулок. Брошенные лотки, киоски, застывшие автомобили. Светофор ослеп на желтом.

Кошка, окрест не глядя, переходит теплый асфальт. И я, счастливый, слышу – ее «мир, мир, мир»…

Я вряд ли способен теперь вынести пробужденье, эту общую форму будущего, то, куда мне без скидки.

Птица, вспорхнув, падает камнем в небо. Капли брызжут в лицо.

Я никогда не плакал во сне.

Окно VIII

Что касается глаз, то они, попадая в окно, слепы.

Действительно, ввиду окна зренье тут же теряет прозрачность, на него спускается кончик ночи, и веко не может уже сморгнуть раскаленный пятак луны, льющий бельмо на стекла…

Что же касается окон, то они – во сне. То есть, стоит в них глянуть, сразу увидишь сон.

Однако все это надвое стриж, прочертив, скричал. Город, очнувшись, зреет, восход набирает ток. Солнце, втиснувшись в раму, зыркает, есть ли кто.

Дева, жмурясь, чулок тянет вдоль ласки утра. Ей бы сейчас замереть, медленно отворясь…

Торопливый стук каблучков уносится в шахту лифта.

Окно IX

Сегодня я обнаружил, что окно превратилось в дверь. Как это произошло – не известно. Известно, что было потом.

Но как превращенье проверить? Как кажимость в явь провести – вроде бы окно остается окном во двор, но кажется – это дверь.

Тогда я вошел в него – отворил и шагнул. Что я увидел? – Лужайку, вокруг – дички апельсинов, кусты олеандров, под ними лежали вон там и вон там и – о Боже! – рядом совсем крылатые звери, числом всего три.

Я подумал в кошмаре – крылатые леопарды, и вот они встретят меня. Но я оказался для них невидимкой. Я просто стоял и смотрел на то, чем они занимались.

Вроде бы ничего страшного, вроде бы все как надо – грызли они там что-то. Но вскоре, вглядевшись, я понял, что так меня сразу смутило. Вся странность виденья была в том, что́ именно там, за окном, они жрали.

Держа в мягких лапах, урча, они разрывали на части числа… Числа множились и различались, исчезали в пасти и вновь появлялись. Тогда я схватил – страшный рык – и мигом таков был обратно. В руке оказалось три.

Окно XI

Я проснулся в свету, как в бреду, и стал ясным оконным словом, по зеленому свису гибко летящей, гибко летящей веткой неба, несомой свободно над озером сна, ствол пробужденья минуя; мои листья нежно трогает ветер, льющий себя с восхода.

Но не садится легкая птица, не нижет слух своим пеньем, не клюет плоды моих глаз, спелую мякоть моей светосилы.

Я вижу топочущие в город тропинки жизней, просеки шоссе, в них плещущие автотолпы, лесенки железных дорог, карабкающиеся на полюс, отдельных людей, разных своим сияньем; тени искромсанных в темень имен, когда-то простых как воздух; и того, кто плывет над городом, с солнечной головой.

И тогда слетает облачком перьев и виснет в звучании голос, он легко вонзается в зренье и держит косточку сердца в клюве.

И прозрачное слово наконец обретает себя в ответе:

– Я любовник твой, душа моя, твой любовник.

Потеря крови

И вспять стези не обретая…
Е.Баратынский. «Осень»

Из первого вагона по ходу поезда из центра ада. С «Площади Ногина» выход на Солянку, затем в троллейбус – за развлечением в «Иллюзион» на «Римские каникулы» – среди фонтанчиков лунного света на Площади цветов, пешеходом бессонницы по Луне, косточкой месячной дольки, городских духов соплеменником и – помещаемый зрением в жилищную мечту: в бутон мансарды над улеем патио, винтовых лестниц, балкончиков, террас, гамаков, сплетенных сквозняками, бликами, сонливостью, плющом, подвешенных лучами к дымоходам, – игрушечный стокгольм, прирученная глазом картинка калейдоскопа; кропотливая и – в результате – неумелая, но верная конструкция Малыша, в пределах выдумки игравшего в воздушные кубики, минуя симметричность в пользу замысловатости и уюта. Геральдика вкраплений панорамы в очках рябого квартиродателя. Невидимый соперник. Простреленная тряпка экрана; безвременное счастье финала.

Поскольку опаздывал, решил не ждать троллейбус, а пешком, оглядываясь, высматривая, надеясь на подоспевший к следующей остановке. И вот почти уже дошел, при том, что путь обернулся, как растянутый ожиданием срок, в полтора раза длиннее себя: стоял плакальщик март, и слякоть откатывала шаг на треть назад, – но… Тут я остановлюсь, поскольку очень важна траектория пути. Он таков: из-под дома на Котельнической через мост, дальше – глубже: Подколокольным и Солянкой к метро, образуя фигуру провала, траекторию поплавка при поклевке: то, в чем смертельно кроется ванькой-встанькой; то, что есть признак развязки согласно закону места трагедии: символ растяжки, оборотень-перевертыш, меняющий будничное со святым местами – алеф. Потому будь внимателен к переходу в событие, будь чуток. Постарайся сохранить око сознания, на черный день сбереженный талант: собиратель просвета – вот какое занятие ценится среди жителей Страха. И вы, боги карнизов, зренью внемлите: зренье есть неподвижности убывание, потому – не стойте! Включайтесь, ленивцы, в мазурку темного дела, в краковяк безумья! – это вам шанс спуститься, стать пешеходу засадою или подмогой.

Но город в кино не пустил, творенье свое не простил и на ловца отправил.

На углу Солянки и Подколокольного, там, где можно срезать угол, войдя в низкую нишу, – и на грех, там, где я снова поскользнулся, – там есть дверь, и над ней есть фонарь, а за дверью – случая рожки.

В целом место действия было не слишком глухим: центр города, ранний вечер, и в душе не совсем потемки, так чтоб в них ни с того ни с сего вдруг нарваться на вилы событий неизжитой памяти, сновидений… И все же то было вблизи от Хитровки (вспомни дяди Гиляя рассказы о бесследных пропажах прохожих прямо с панели Цветного – в подсознанье Москвы), и потому всегда надо держать ухо востро. И особенно тому, кто рассеян и неосторожен.

Смесь подворотни и грота: в глубине дверь железным листом, цвета сумерек, скважины нет. Дверь – заслон: гладкий череп, с затянутыми костью потемками скважин-глазниц, пялится на проходящего мимо героя.

И вдруг герой падает ниц, не успев и сморгнуть, что неладно, – что возникли двое без взгляда, без лиц.

Удар был произведен тяжелым, но завернутым в мягкое – не предметом, но, пожалуй, самой ситуацией невыносимой жертвы, легчайшего из билетов – то есть случайной смерти: тем, в чем причина близнецом выступает следствия, тем, из чего нельзя сделать выводов,

тем, что не знает ни слов приветствия, ни своего места в будущем; тем, что из-за его нелепости нельзя назвать бедствием. Следовательно, то, что с героем случилось, обладает природой безличной формы. Потому – не с ним, потому не имели лиц те двое, потому-то все его страхи – вздорны.

Соответственно, то «мягкое» оборачивается ничем иным, как приманкой:

– Ну-ка, братан, ты сюда поди, там у нас для тебя (тычет в дверь) невеста.

Или:

– На вот, купи бинокль, за три штуки отдам, командирский, батя с войны притаранил.

– Слышь, браток, по секрету, та краля (кивает на дверь), ну просто артистка.

– Ну куда ты, стоять, ты ж купил бинокль…

– Толь, а, Толь! Вот Толяй все видел.

– Так что с нами, должник, ты повязан, не вздумай рыпаться…

– Стоять!

– Ну ты, брат, обидел.

Тут второй со спины западает и рушит в затылок. В бинокле: детство, пляж Гурзуфа, сбор мидий…

Только чтоб донырнуть за крупными глубже, выпускаешь весь всосанный кровью воздух. От давленья столба загоняется в темя зренье: давит с висков и выходит в затылок. Звенья протяженных гребков зацепляют тебя в дебри сонных водорослей, во тьму вдоха; невозможней становится путь обратно, движения туже тянутся к цели усталостью, тебя заливает морок, что не всплыть, не пробить, но экземпляр все ближе, и уже не плывешь, но царапаешь камни ногтями, вот еще чуть-чуть и – дотянулся, сколол… И, зажав в руке, зависаешь во тьме, а другой, обнимая ворох разорвавшихся звеньев гребков, держишь этого сна обломок…

…И как только завис, подняли его вдвоем – под мышки один, другой, держа, чтоб спал крепким сном, бессознанием вниз. Движения их легки, взаимны и сведены, и кажется так точны совсем неспроста они: заучены раз в урок смерти, теперь в поток сами превращены – выделения темноты. Четки, как чернота, – их правит ее рука, повторяя себя сама… И то, как они его – Горбунка – от пастьбы в ярмо понесли до двери, напоминало: воры краденое под уздцы деловито ведут домой, чтоб лучший дать корм, с лихвой обеспечить покой… Но прежде взять за постой – сознанием, чтоб сполна.

И дверь их впустила, сна поверхностью отойдя. (Та краля, что обещал один из тех зазывал, сказалась с косой сама, кокетка и егоза.)

И он не застал свой вопль. А все-таки был бинокль – неразменный товар: в растерянности решил взглянуть в него на фонарь… И ринулся рой светил в сетчатку, вздымая гарь, плодя пустоту в надир мозга, взрывал эфир сознания, символ дня, – в ночное вводил конька разума, – хоть горбунка, но все же приятеля. Вводил конокрадам для увода за полог сна. Наводкой служили им снопы искр: горели стога палочек, колбочек, и жар-птицей пылало «Я» на поле сверх-зрения, трением случая о мирный поход в кино зажженного, как гумно.

И воплем тем было «Аа-ааа-аа», пронзающее построчно описание зла, посещенного им заочно.

И вышло так не нарочно.

«Случается, что события, происходящие только в рамках наития – и как бы ненастоящие, – дети сознания то есть, достигать могут такого предела, что позже повесть эмпирики уже не в силах ничему научить человека», – А.А.Брусилов.

И так как событию в эхо свое свойственно превращаться, то все б ничего, но выжил. И пожалел, что выжил.

Видимо, подвал… Трубы отопления, канализации – стратегические жилы пребывания жизни в стенах, стекловата эпидермиса, ржавчина слизистой, вонь лабиринта кишечника; сорокаваттная лампочка, отдавливающая темноту, как головную боль, ладонями просвета от висков к затылку – в глубину девяти квадратных закутка меж переборками – подвала, чрева, трюма – заключения, идущего на всех парах туда, где – если обратиться перекошенным лицом, напряженным в наведении ясности взгляда: различишь в тусклости на проломанных деревянных ящиках какие-то предметы: не-гаечный-ключ, не-ложка, – блестящие приметы боли на столике дантиста – единственная мысль, спасенная в пожаре страха: помещенье это – мой череп болевой. Сознанье же зависит от накала в лампе.

Вдруг напряжение скакнуло. Два «академика» в грязно-белых халатах – анатомичка мясного отдела – выступают вперед, неторопливы: уверенно путаются в проводках, движениях, в кропотливости соединений – гирлянде «крокодильчиков»: помесь капельницы и установки для изучения эффекта Холла. Затянувшееся их кружение, нарочитая медлительность.

Наконец им как бы становится неловко от своего деловитого бездействия.

– Сейчас сделаемся, – вдруг говорит один, тот, что повыше, постнее.

Я замечаю, цепенея, подле себя охапку лохмотьев когда-то добротной лайки. (Неудачная выкройка из шагреневой кожи?) Мой леденящий интерес к ее происхождению. Догадка… Которую я страшно крикнул всем животом. Они набросились и стали меня путать этой кожей.

Опустошенная оболочка жизни. Цель: переливание из пустого в порожнее. Близко возникшая плотность смерти. Сгустки зрения. Безграничное движение извне, являющееся именем чего-то еще несущественного, еще не ставшего. Туманность. Протяженность тугой струны соперничества. «Рождение звезды», «космическое рождение сознания», «уплотнение смысла в тело», то есть зренье сжимается в желток, и происходит формулировка цели: охранение центра шара. Как корь, цвет пыльного заката сквозь ряску из-под воды – разведывательный взгляд создания, которому предстоит стать амфибией. Текущая враждебность суши. Невидимые жители заката. Перетекание клубящейся теченьем теплоты. Естественно, дикая эрекция, тягучий, как ее же протяженность, от той струны соперничества звук.

И оболочка стала наполняться. А я, в нее переливаясь, вдруг стал способен видеть себя со стороны. Точней – свои останки. Такую же охапку мятой лайки.

И уже не маешься, что вот справишь себе скороходы, тогда и тронешься с этого места. И тогда ни один полкан не успеет цапнуть, сторожа – задержать.

И уже не надеешься, что следователь образумится, вновь пересмотрит расклад обстоятельств преступления, его место, где я не жду, оставаясь вещдок: не свидетелем – вещью. Иными словами, отнесется ко мне внимательно: сдует пыль, поместит под лупу и замочит в питательном растворе, поскребет, и, быть может, его осенит: он поймет – что́ это за шкурка.

И уже перестало быть важным: чем обернется побег, где обнаружишь себя – в «нигде» или «здесь», – главное то, что возникнет «после».

Случайно и жестоко, правдиво, как окно, бездарно – по закону: жил-был и бит таков – попал к ним на серийный поступок: тайно кровь меняли на закуску и спирт один к одному – мучителями были для доноров-бедняг, простали их как зайцев, переливали юшку в склянку, несли куда-то к «склифу», где царство ледовитое царит – стерильность, белизна, там им давали спирт и жрачку.

Играли ли в Дахау, иль просто жили, я не ведаю, поскольку мне не были друзьями: Толя, Леня, Некто, – те, кто изобретенья метаморфозы крови прохожего в спиртягу был коллективный автор.

Ударом сбит, я слег у нагроможденья звезд – низовья течения жизни от коварного верховья – от паха – брюха-глада, простейших разумений инстинкта – Бога дара. Но слили только литр. Сердце перенесло надгробье озноба от утраты работ объема. Жалко.

Зачем же кровь? Расходник нелегальный в реанимационном отделенье? Куда ее носили? Кого спасали ею? Бандитов продырявленных на деле?

Смерть – нечистоты вершина. Пусть будут живы.

Но дела не узнать, покуда – даль имущий – не глянешь под руку, чтоб вспомнить – Ялту, рынок: прилавки, горы фруктов, ряд мясной – багровый, алый, белый, и вот – колбасные круги, вот «кровяная с гречей»… И вспомнишь, как сам в студенчестве был добровольцем, отдался медсестре, поиски таинственной вены, истока Амазонки; после в руке оказались зажаты талоны на питанье и плитка шоколада…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.